





Александра Бруштейн

ДОРОГА  
УХОДИТ В ДАЛЬ...  
•  
В РАССВЕТНЫЙ ЧАС  
•  
ВЕСНА



УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6  
Б89

Рисунок на обложке  
*К. Почтенной*

**Бруштейн, А. Я.**

**Б89** Дорога уходит в даль...; В рассветный час; Весна : [автобиографическая трилогия, повести] / Александра Бруштейн; рис. на обл. К. Почтенной. — Москва : Издательство АСТ, 2020. — 860, [4] с. — (Золотая классика — детям!).

ISBN 978-5-17-133481-9.

Александра Яковлевна Бруштейн (1884-1968) — советская писательница, родившаяся в переломные годы на рубеже столетий, с удивительной точностью отразила то непростое время в автобиографической трилогии о Сашеньке Яновской. Назревшие проблемы общества находили живой отклик в Сашиной душе. Пытаясь побороть социальную несправедливость, она помогала словом и делом нищим и обездоленным — всем тем, от кого так легко отмахнуться.

В наше издание вошли все три повести о Сашеньке Яновской — «Дорога уходит в даль...», «В рассветный час», «Весна».

Для среднего школьного возраста.

УДК 821.161.1  
ББК 84(2Рос=Рус)6



© Бруштейн А. Я., насл., 2020  
© Почтенная К. О., рисунок на обложке, 2020  
© ООО «Издательство АСТ», 2020

# Книга первая

## ДОРОГА УХОДИТ В ДАЛЬ...

Памяти моих родителей  
посвящаю эту книгу.

*Автор*

### Глава первая

#### ВОСКРЕСНОЕ УТРО

Я у мамы и папы одна. Ни братьев у меня, ни сестер. И это уже — пропащее дело! Даже если у нас еще родится кто-нибудь — мальчик или девочка, все равно, — мне-то от этого никакого проку! Мне сейчас уже девять лет, а им будет — нисколько. Как с ними играть? А когда они меня догонят, дорастут до девяти лет, мне-то уже будет целых восемнадцать... Опять неинтересно будет мне с ними!.. Вот если бы они теперь, сейчас были моими однолетками!

Я беру с маминого столика маленькое — размером с книгу — трехстворчатое зеркало. Открываю все три створки — из них смотрят на меня с одинаковым любопытством три совершенно одинаковые растрепанные девочки с бантом, сползающим на один глаз. Я воображаю, будто это мои сестры.

— Здравствуйте! — киваю я им.

И все три девочки очень приветливо кивают мне, трясая своими бантами. Неслышно, одними губами, они тоже говорят: «Здравствуйте»...

Можно, конечно, еще и высунуть язык, провести им по губам справа налево и обратно, можно даже попробовать дотянуться кончиком языка до носа — зеркальные девочки в точности повторяют все эти движения. Но ведь неинтересно! Вот если бы я закивала «Да, да!», а которая-нибудь из зеркальных девочек замотала бы головой «Нет, нет!». Или дру-

гая из них засмеялась бы, когда я не смеюсь, а третья вдруг вовсе взяла бы да ушла!

Гораздо интереснее та девочка, которая смотрит на меня с блестящего выпуклого бока самовара. Хотя у нее все тот же бант, сползающий на один глаз, но все-таки она одновременно и похожа на меня и — не совсем. Придвинешься к ней лицом — у самоварной девочки лицо расплывается, становится круглым, как решето, щеки распухают — очень смешно, я так не умею. Откинешь голову назад — лицо у самоварной девочки вытягивается вверх, становится худенькое-худенькое, и вдруг из ее головы начинает расти другая голова, точь-в-точь такая же, только опрокинутая волосами вниз, подбородком вверх, — это еще смешнее!

— Ты что? — говорю я самоварной девочке очень грозно.

Но тут в комнату входит мама и, конечно, портит всю игру!

— Опять ты гримасничаешь перед самоваром! Как мартышка!

— Мне скучно... — обиженно бубню я под нос.

— Поди играть с фрейлейн Цецильхен.

На это я не отвечаю — я жду, пока мама выйдет из комнаты. Тогда я говорю не громко, но с громадной убежденностью:

— Фрейлейн Цецильхен дура!

И еще раз, еще громче — мама-то ведь успела отойти далеко! — я повторяю с удовольствием:

— Цецильхен дура! Ужасная!

Конечно, мне так говорить о взрослых не следовало бы... Но фрейлейн Цецильхен, немка, живущая у нас и обучающая меня немецкому языку, в самом деле очень глупая. Вот уже полгода, как она приехала к нам из Кенигсберга; за это время я выучилась бойко сыпать по-немецки и даже читать, а Цецильхен все еще не знает самых простых русских слов: «хлеб», «вода», «к черту». В своей вязаной пелерине Цецильхен очень похожа на соседского пуделька, которого водят гулять в пальтишке с карманчиком и с помпончиками. Цецильхен только не лает, как он. У Цецильхен безмятежные голубые глаза, как у куклы, и кудрявая белокурая головка.

Кудри делаются с вечера: смоченные волосы накручиваются перед сном на полоски газетной бумаги. Дело нехитрое — так раскудрявить можно кого угодно, хоть бабушку мою, хоть дворника Матвея, даже бахрому диванной подушки.

Разговаривать с Цецильхен скучно, она ничего интересного не знает! О чем ее ни спроси, она только беспомощно разводит пухлыми розовыми ручками: «Ах, Боже в небе! Откуда же я должна знать такое?»

А я вот именно обожаю задавать вопросы! Папа мой говорит, что вопросы созревают в моей голове, как крыжовник на кусте. Обязательно ли все люди умирают или не обязательно? Почему зимой нет мух? Что такое громоотвод? Кто сильнее — лев или кит? Вафли делают в Африке, да? Так почему же их называют «вафли», а не «ваффри»? Кто такая Брамапутра — хорошая она или плохая? Зачем людям «прибивают» оспу?

Только один человек умеет ответить на все мои вопросы или объяснить, почему тот или другой из них «дурацкий». Это папа. К сожалению, у папы для меня почти нет времени. Он врач. То он торопится к больному или в госпиталь, то он сейчас только вернулся оттуда — очень усталый...

Вот и сегодня, в воскресенье, рано утром папа приехал домой такой измученный — сделал трудную операцию, провел при больном бессонную ночь, — что мама нарезает ему завтрак на кусочки: у папы от усталости не слушаются руки.

Позавтракав, папа ложится поспать в столовой на диване, укрывшись старой енотовой шубой. Все в доме ходят на цыпочках и говорят шепотом, даже горластая Юзёфа — моя старая няня, ставшая кухаркой после водворения у нас фрейлейн Цецильхен. Юзефа сидит на кухне, чистит кастрюлю и ворчит на той смеси русского языка с белорусским и польским, на какой говорит большинство населения нашего края:

— Другий доктор за такую пра́цу (работу) в золотых подштанниках ходил бы!

В кухне сидит полотер Ра́фал, очень осведомленная личность с огромными связями во всех слоях общества. Даже Юзефа считается с мнением Рафала! И он тоже подтверждает, что да, за такую работу — «Я же вижу! Господи Иисусе, и когда только он спит?» — другой доктор на золоте ел бы!

Свирепо закусив губу и словно желая стереть в порошок кастрюлю — зачем она не золотая, а только медная? — Юзефа яростно шипит:

— Я сколько разов ему говорила: богатых лечить надо, богатых!

— А он? — интересуется полотер.

— Как глухой! — вздыхает Юзефа. — Никого не слушает. Ко всем бедакам, ко всем бедолагам ездит. А бедаки что платят? Вот что яны платят! — И пальцы Юзефы, выпачканные в самоварной мази, показывают здоровенный кукиш.

— Какая жаль!.. — вежливо качает головой полотер Рафал. — Богатые и бедные — это же две большие разницы!

— А то нет! — отзывается Юзефа.

Сегодня, в воскресенье, Рафал явился без щеток и без ведра с мастикой — только уговориться, когда ему прийти натирать полы. Юзефа принимает его в кухне, как гостя, и он чинно пьет чай, наливая его в блюдечко.

— А може, — говорит Рафал осторожно, — може, не умеет ваш доктор богатых лечить?

— Не умеет? Он? — Юзефа смертельно оскорблена. — А когда Дроздова, генеральша, разродиться не могла, кто помог? Все тутейшие доктора спугались, — из Петербургу главного профессора по железной дороге привезли, так ён только головой покрутил. «Не берусь, сказал, не имею отваги!» А наш взял — раз-раз, и готово! Сделал репарацию (так Юзефа называет операцию) — родила генеральша, сама здорова, и ребеночек у ей живой!

Наступает пауза — слышно только, как старательно полотер Рафал втягивает в себя чай.

— А за гэтых Дроздовых, — говорит он вдруг, — вы, тетечко, не ударяйтесь, пожалейте свою сердцу. Я у их мало что не десять годов подлоги (полы) натираю. У их свою заработанную копейку из горла вырывать надо!..

Папа спит часа полтора. Он накрыт шубой с головой. Рядом с диваном, на стуле, — папины очки. Поникшие дужки их — как оглобельки саней, из которых выпряжен конь.



Терпеливо, как всегда, я подкарауливаю папино пробуждение. Вот он откидывает с головы шубу, мигает невидящими, очень близорукими глазами:

— Ты тут, Пуговица?.. Стой, стой, очки раздавишь! Назрели вопросы? Ну, сыпь свой крыжовник!

Вот тут наступает мой час! Иногда это полчаса, иногда и того меньше, папу ждут больные. Но сколько бы их ни было — это самые чудесные минуты!

Папа отвечает на мои вопросы серьезно, подробно (из чего делают стекло? что такое скарлатина? и т. п.). На иные говорит просто: «Этого я не знаю» (он, оказывается, знает не все на свете!), на другие: «Ну, это глупости!» На вафли-вафли папа хохочет:

— Значит, вазелин делают в Азии?

От иных вопросов папа отмахивается:

— Об этом мы с тобой поговорим, когда у тебя коса вырастет!

Вырастет она, коса моя! Через сто лет!.. Я украдкой трогаю растрепанный кудрявый мох, растущий во все стороны на моей голове, — Юзефа называет это «кудлы»... Неужели мне ждать, пока «кудлы» вырастут в косу?

Не обходится дело и без «домовладельческого вопроса», как называет его папа. У нас с ним это вроде игры.

Давно, когда я еще была совсем маленькая, я как-то спросила:

— Папа! У доктора Петрашкевича свой дом, и у доктора Малиновского, и у доктора Стембо тоже... А у тебя? Почему у тебя нет дома?

Тогда, давно, папа сказал, как всегда — не то в шутку, не то всерьез, — что и у него тоже есть собственный дом, только такой маленький, что его пока еще не видно... Почему? Да потому, что он еще не вырос, вот так, как не успевший еще проклонуться из земли гриб масленок.

Я тогда же предлагала разные способы заставить папин дом расти побыстрее — например, откапывать его лопатой или поливать из лейки.

— Ну, вот еще! — сказал папа. — Дом — не огурец, он от сырости пропадет!

Потом тема собственного дома как-то забылась, да и я узнала наверняка, что дома не растут, их строят.

Но тут я опять почему-то спрашиваю, будет ли у папы хоть когда-нибудь свой собственный дом.

— Здравствуйте, давно не видались! — смеется папа. — Да на что он тебе нужен, этот дом? Тебе жить негде? Ты под дождем мокнешь?

Гремя посудой, в столовую входит Юзефа.

— От, Юзефо, — обращается к ней папа, — хочет моя дочка́ (он произносит по-белорусски: «дочка́»), чтобы у меня свой дом был.

— А что ж? И умница! — хвалит меня Юзефа. — Хоть малюсенький, да свой. Коровку бы завели, курочек, огородик еще... свое молочко, свои яички...

— Как думаете, Юзефо, будет у меня свой дом?

— У вас бу-у-удет! — словно проснувшись от мечтаний, зловеще цедит Юзефа сквозь зубы. — Вчерась опять такой фэйный (шикарный) пан приходил вас к больному звать, а вас и не було́ — у каких-то бедаков всю ночь танцевали!

— Я там не танцевал, — смеется папа. — Я сделал там очень редкую операцию, Юзефо! — И папа добавляет, словно уж для самого себя: — Красиво сделал! Как французские хирурги говорят: элегантно.

— Красивую репарацию... Алегантную... — Юзефа еле сдерживает возмущение. — А заплатили они вам?

— Они хотели заплатить, — мягко говорит папа.

— А вы руками замахали: не надо, не надо?

— Они сказали: «Нехай пан доктор подождет хвилечку — мы в ссудную кассу сбегает, самовар заложим. И заплатим пану доктору полтинник». Что же, по-вашему, надо было взять у них этот полтинник?

— А чего ж! — не сдаётся Юзефа. — Як будут у них деньги, они самовар обратно из ссудной кассы выкупят.

Тут папа сердится:

— Старая уж вы, Юзефо, а говорите такое глупство! Когда вы это видали, чтоб из ссудной кассы вещи обратно возвращались? Что к ростовщику в лапы попало, то уж у него и останется! А вы хотите, чтоб я у людей последнее отнимал?

Юзефа не отвечает папе. Она обращается ко мне.

— Будет у твоего батьки дом! — говорит она с горечью. — Будет у него дом, побачишь! На три аршина, хороший домик...

Что-то в ее словах мне смутно не нравится... Так не нравится, что вот — расплакалась бы... Но в эту минуту раздается пушечный выстрел: это с горы, над городом, гремит старинная пушка, ежедневно возвещающая жителям полдень.

Папа срывается с дивана:

— Двенадцать часов! Меня в госпитале ждут!

Дальше — вихрь! Голову — под кран, очки — на нос, схватил пальто и сумку с инструментами, нахлобучил шляпу — и нет папы! Улетел!

— Не человек! — говорит Юзефа. — Антипка!

Я обижаюсь: Антипкой в нашем крае зовут нечистую силу — домового, чертей.

— Ты за что моего папу Антипкой зовешь?

— А чи ж не Антипка? Был и сгинул!

Мы с мамой и Юзефой смотрим в окно, как папа садится на извозчика. Он уже занес ногу на подножку пролетки, но вдруг, пошарив в карманах пальто, почти бегом возвращается домой.

— Что-нибудь забыл, — догадывается мама.

Юзефа беззвучно трясется от смеха:

— У яво завсегда: что не на ём растет — забудет!

И верно! Папа забыл палку и носовой платок. Палки дома не оказывается, — видно, он оставил ее там, где провел ночь. Зато с носовым платком ложная тревога: мама положила ему по платку в оба кармана пиджака. А он искал платок — и, конечно, не нашел! — в карманах пальто.

Мы стоим в передней, улыбаясь папиной рассеянности, но уже над моей головой раздается голос фрейлейн Цецильхен:

— А теперь, чтобы наша девочка не скучала, мы будем немножко веселиться!

И Цецильхен уводит меня за руку из передней. За нашей спиной я слышу мрачный голос Юзефы:

— Ухапил волк овечку...

Приведя в нашу комнату, фрейлейн Цецильхен усаживает меня на стул, а сама садится на другой.

— Альхен, — говорит она взволнованным голосом, — вчера тебя укладывала спать Узефи (так Цецильхен называет Юзефу). Ты помолилась вчера на ночь, Альхен?

— Н-не помню... — отвечаю я и сильно краснею при этом, потому что я, конечно, не молилась.

С тех пор как к нам приехала фрейлейн Цецильхен, она завела новую моду: перед тем как заснуть, я должна стать на колени в своей кровати и сказать по-немецки молитву:

День прошел. Иду ко сну.  
Крепко глазки я сомкну.  
Боже! Взгляд Твоих очей  
Над кроваткой будь моей!

Когда меня укладывает спать сама фрейлейн Цецильхен, избежать молитвы невозможно. Когда же со мной Юзефа, она относится к этому так же критически, как ко всему, что исходит от «немкини». Незачем «болботать» на непонятном языке неизвестно что! Ну, а папа и мама сами не молятся и, конечно, не учат этому и меня.

— Та-ак... — Фрейлейн Цецильхен печально качает головой. — Значит, ты вчера не молилась на ночь... Не болтай ногами, это неприлично!.. Ну, а какой сегодня день, Альхен, это ты знаешь?

— Воскресенье.

— Да, — подтверждает фрейлейн Цецильхен торжественно, — сегодня воскресенье. Божий день! В вашем доме он, правда, не соблюдается — твой папа, да простит ему Бог, работает в праздники, как в будни...

— Если папа не будет работать в праздники, его больные умрут!

Фрейлейн Цецильхен, вероятно, ради воскресенья, Божьего дня, пропускает мимо ушей мою «русскую грубость».

— Да, не все соблюдают Божьи дни, — говорит она, устремив глаза в потолок. — Но я соблюдаю. И я сегодня

была в нашей кирхе. Ах, пастор Бринк сказал такую проповедь, такую проповедь!.. Все плакали!

Фрейлейн Цецильхен и сейчас готова заплакать. Глаза ее краснеют, нос тоже, уши тоже.

— Знаешь ли ты, дитя, про жертвоприношение Авраама? (Фрейлейн Цецильхен произносит по-немецки: «Абрахам».)

— Нет, — отвечаю я угрюмо. — Не знаю.

— Боже, прости этим людям!.. Ребенок не знает даже Библии! Ну, я тебе сейчас расскажу. Жил-был человек, его звали Аврахам. У него был один-единственный сын, замечательно удачный юноша, Исаак. И Аврахам любил своего сына больше всего на свете!

Я слушаю уже почти с интересом.

— А Бог, милый, добрый Господь Бог, любил Аврахама больше всех людей! Потому что Аврахам был очень, очень хороший и порядочный человек... И Бог сказал: «Аврахам! Я возлюбил тебя больше всех людей, и я приказываю, чтобы ты принес мне в жертву своего единственного, своего возлюбленного сына Исаака!»

— Это как же — в жертву? — недоумеваю я. — Что это значит: принеси мне в жертву своего сына?

Фрейлейн Цецильхен объясняет восторженным голосом:

— Это значит: «Убей своего сына! Убей его во славу своего Господа!»

— И этот Аврахам убил сына? — Я еле выговариваю эти слова, до того мне страшен их смысл.

— Да! Аврахам взял своего сына, связал его по ногам и рукам, как жертвенное животное, и уже занес было над ним нож, чтобы заколоть его, но...

— Но... — повторяю я невольно с ужасом и надеждой.

— ...но Бог послал своего ангела, и тот остановил руку Аврахама, занесенную над сыном! — торжествуяще заключает рассказ фрейлейн Цецильхен.

Я шумно вздыхаю. Мне легче — не убил он сына! Но я не все понимаю в этом рассказе.

— А зачем это было нужно Богу, чтобы Аврахам убил своего сына?

— Бог хотел проверить, как сильно предан ему Абрахам. И пастор Бринк сегодня в своей проповеди сказал нам: «Мы все должны быть готовы отдать Богу самое дорогое, самое любимое...» Не дергай себя за ухо — воспитанные дети так не делают! Сложи руки на коленях.

Я молчу. Я думаю. Потом говорю с железной уверенностью:

— Никогда в жизни мой папа не связал бы мне руки и ноги, как жертвенному животному, чтобы убить меня! И мама тоже никогда!

— Твои родители, Альхен, не очень верят в Бога... Но ты должна верить! Должна!

«Должна, должна»... Как я могу верить в него, когда он такой ужасный! На картинке в молитвеннике у фрейлейн Цецильхен Бог нарисован сидящим посреди облаков, и борода у него похожа на взбитые сливки: белая, густая, пышная. Глаза у этого Бога пронзительные и злые.

Фрейлейн Цецильхен рассказывает мне о нем каждое воскресенье, после возвращения из кирхи, и всегда что-нибудь нехорошее! То он разрушил два города, то превратил женщину в соляной столб, то выкинул еще какую-нибудь злую шутку... Фрейлейн Цецильхен сама видела, как Бог убил на месте одного парня! И, думаете, за что? Была гроза, сверкала молния, гремел гром — в общем, самое простое дело, но Цецильхен уверяет, будто гроза — это голос самого Бога... И вот какой-то озорной парень, стоя под деревом, вдруг, вместо того чтобы смиренно молиться, громко захотал (Цецильхен видела, как сверкали его белые зубы) и крикнул... Ох, что он крикнул!.. И сразу молния ударила в то дерево, под которым он укрывался, дерево рухнуло и придавило парня насмерть!

— А что он крикнул? За что Бог его убил?

— О Господи Боже, что он крикнул! — И, закрыв в страхе глаза, Цецильхен говорит очень тихо: — Гремел гром, а парень крикнул со смехом: «Боженька играет в кегли!»

За такой пустяк — и смерть парню?

— Это электричество! — пытаюсь я объяснить фрейлейн Цецильхен. — Мне папа говорил: молния — это электричество... и в грозу не надо стоять под деревьями...

Но разве Цецильхен что-нибудь втолкуешь! Всяких страшных историй Цецильхен рассказывала мне много. Но такого, как с этим Абрахамом, еще ни разу! «Убей своего сына, потому что я тебя очень люблю!» Бедный Абрахам наплакался, наверно. И Исаак этот, горемычный, тоже, верно, плакал и кричал: «Не надо! Не надо меня убивать!» Хорошо еще, что ангел успел отвести Абрахаму руку с занесенным ножом! А вдруг ангел зазевался бы? Ведь даже поезда опаздывают! Часы и те отстают! Нет, нет, очень злой этот Бог, очень противный! И я его терпеть не могу — вот!

Приблизительно так я выкладываю фрейлейн Цецильхен. Она печально вздыхает и гладит меня по голове:

— Бедное дитя... Бедное, бедное дитя...

Но я словно удила закусил. Почему это такое я вдруг «бедное дитя»? У меня папа — не Абрахам, он меня ни за что не убьет!

— Нет, ты бедное дитя, — говорит Цецильхен взволнованным голосом, — потому что людей, которые не верят в бога, сажают в тюрьму. И тебя тоже посадят в тюрьму, когда ты вырастешь... если только ты не поймешь, какие глупости ты говоришь... Ну, а теперь будем немножко веселиться!

И вот мы с фрейлейн Цецильхен веселимся. Мы поем песенку, весь смысл которой построен на каламбуре: по-немецки слово «фергиссмайннихт» означает и «незабудка» и «не забудь меня».

Мы поем:

Расцветала под горой  
Фергиссмайннихт (незабудка)!  
Я сказала: «Милый мой —  
Фергисс-майн-нихт (не забудь меня)!»

Потом, взявшись за руки и составив хоровод из двух человек, мы кружимся и поем:

Рингель, рингель, розенкранц!  
Рингель, рингель, райн!..

Цецильхен поет таким тоненьким голоском, что кажется — вот-вот он обломится, как острие иголки! Мы кружимся сперва влево, потом вправо, потом опять и опять в